

# Теодор СТАРДЖОН



БРАК С МЕДУЗОЙ



о влюбленности одинокой женщины в инопланетянина. Интеллигенция с энтузиазмом воспринимала размышления о пугающе безграничных возможностях человеческого разума в «Больше, чем люди» и «Браке с Медузой».

Творчество Старджона с интересом изучали Курт Воннегут, Рэй Брэдбери, Сэмюэль Дилени, а очарованный им Стивен Кинг резюмировал: «Один из величайших фантастов, когда-либо рождавшихся на свет».

В юности Старджон мечтал стать цирковым гимнастом, но в итоге столь широко расправил крылья своей фантазии, что взлетел выше любого трюкача или акробата...

*В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.*

# Содержание

Больше, чем люди	6
Часть первая. Фантастический идиот	6
Конец ознакомительного фрагмента.	75

# Теодор Старджон

## Брак с Медузой

**Theodore Sturgeon**

**MORE THAN HUMAN**

© Theodore Sturgeon, 1941, 1947, 1953, 1956, 1958, 1970,  
1971

Школа перевода Баканова, 2020

© Перевод. Ю. Соколов, 2020

© Перевод. К. Егорова, 2020

© Перевод. К. Булычев, наследники, 2020

© Перевод. Е. Абаева, 2020

© Перевод. Л. Таулевич, 2020

© Перевод. Н. Холмогорова, 2020

© Издание на русском языке AST Publishers, 2020

# Больше, чем люди

*Его геитальт-величеству Николасу Сэмстагу*

## Часть первая. Фантастический идиот

Идиот жил в черно-сером мире, который пронзали белые молнии голода и мерцающие зарницы страха. В его ветхой одежде зияли окна прорех. В них выглядывало то колено, угловатое и острое, как зубило, то частокोल ребер. Долговязый, плоский парень. И на мертвом лице – застывшие глаза.

Мужчины откровенно отворачивались от него, а женщины не решались поднять взгляд. Лишь дети подолгу разглядывали идиота. Но он не обращал на них внимания. Идиот ни от кого ничего не ждал. Когда ударяла белая молния, его кормили. Пропитание он добывал сам или вовсе обходился. А случалось, его кормил первый встречный. Идиот не знал, почему так происходит, и не задумывался об этом. Он не просил, он просто стоял и ждал. И стоило прохожему заглянуть в его глаза, как в руке идиота оказывалась монетка, кусок хлеба или какой-нибудь плод. Тогда он ел, а неожиданный благодетель торопился прочь, охваченный смутной тревогой и недоумением. Изредка с ним пытались заговорить; иногда о нем говорили между собой. Он слышал звуки, но

смысла для него они не имели. Он жил сам в себе, далеко-далеко, не ведая связи между словом и его значением. Видел он великолепно и мгновенно замечал разницу между улыбкой и гневным оскалом, но ни та ни другая гримасы ничего не значили для существа, лишенного сочувствия, никогда не смеявшегося и не скалившегося, а потому не понимавшего чувств своих веселых или гневных собратьев.

Страх в нем хватало ровно на то, чтобы сохранить целыми шкуру и кости. Он не умел предвидеть что-либо вообще. Так что всякая занесенная палка, любой брошенный камень заставляли его врасплах. Правда, первое же прикосновение пробуждало его. Он спасался бегством. И не успокаивался, пока не стихала боль. Так он избегал бурь, камнепадов, мужчин, собак, автомобилей и голода.

Идиот ничего не желал. Вышло так, что жил он скорее в глуши, чем в городе; и поскольку жил там, где оказывался, получалось, что оказывался по большей части в лесу, а не где-то еще.

Четыре раза его запирали, и всякий раз это ничего не значило для него и ничего не меняло в нем. Однажды его жестоко избил сокамерник, другой раз, еще сильнее, охранник. В двух других местах был голод. Когда у него была пища и его оставляли в покое, он оставался. Когда наступало время бежать, он бежал. Средства для спасения предоставляла внешняя оболочка его существа, сердцевина же его или вовсе не тревожилась, или никак не распоряжалась своей скорлупой.

Но когда приходило время, тюремщик или охранник замирали перед лицом идиота, в глазах которого словно кружили колеса радужек. Тогда запоры и засовы сами собой открывались, идиот уходил, а благодетель, как всегда, торопился найти себе какое-нибудь занятие, чтобы скорее забыть то, что произошло.

Идиот был животным... тварью, слишком деградировавшей для того, чтобы жить среди людей. И большую часть своего времени он проводил животным вдали от других людей. И будучи животным, по лесу он передвигался с изяществом зверя. И убивал как животное: без радости и без ненависти. Как животное, ел все съедобное, что удавалось найти, и когда ел (если это случалось), ел досыта, но не более. И спал он, подобно животным, сном неглубоким и легким, противоположным человеческому сну, ибо человек спит, чтобы погрузиться в сон, а животное для того, чтобы проснуться от сна. Он был зрелым зверем: игры котят и щенят не занимали его. Не знал он шуток и радости. Настроение его менялось от ужаса к удовлетворению.

Было ему двадцать пять лет.

Но, как косточка в персике, как желток в яйце, пребывало в нем нечто другое... пассивное, восприимчивое, бодрствующее и живое. И если оно было чем-то связано с животной оболочкой, то игнорировало эти связи. Сущностью своей оно происходило от идиота, однако во всем прочем пренебрегало им. Он часто чувствовал голод, но по-настояще-

му голодал редко. И когда голодал, это внутреннее, быть может, немного съезжилось, однако не замечало собственно-го умаления. Оно должно было умереть вместе со смертью идиота, однако не испытывало желания отсрочить это событие хотя бы на секунду.

Это оно не обладало никакой функцией, присущей именно идиоту. Селезенка, почка, надпочечник – все эти органы имеют свои конкретные функции, исполняемые на оптимальном уровне. Однако существовавшая в идиоте штукавина только воспринимала и запоминала. Она делала это без слов, без какой-либо кодирующей системы; без перевода, без искажения, без действующих выводов наружу. Она воспринимала то, что воспринимала, и ничего не выдавала вовне.

Своими особыми чувствами ощущала окружавшее ее тихое бормотанье, посылку. Она была пропитана этим бормотаньем, и когда оно приходило, поглощала его целиком и полностью. Быть может, она сопоставляла его и классифицировала, а возможно, просто питалась им, забирая необходимое и отбрасывая остальное каким-то непостижимым для нас образом. Идиот об этом не знал. Штуковина же...

Без слов: *тепло, когда ненадолго становится чуть сыровато, но ненадолго и недостаточно.* (Печально): *Больше не темно.* Ощущение удовольствия. Чувство давления, легкий треск и *уберите розовое и колючее.* *Подожди, подожди-ка, ты еще можешь вернуться, да, ты можешь вернуться.* *Другим, но почти не хуже.* (Клонит в сон): *Это, оно*

*вот! Это же – ох! (Тревога): Ты зашел слишком далеко, вернись назад, вернись назад, верн... –(гнетущее внезапное прекращение; на один «голос» меньше)... Все несетя вперед, быстрее и быстрее, уносит меня. (Ответ): Нет и нет. Ничто не несетя. Все покоится; что-то пригнетает тебя к себе, вот и все. (Ярость): Они не слышат нас, глупые, глупые... Они... Нет, не слышат, только плач, только ропот.*

И все это без слов. Впечатление, уныние, диалог. Излучения страха, напряженные поля сознания, недовольства. Бормотание, посылка, речь, общение с сотнями, с тысячами голосов, обращенных не к идиоту. Ничего имеющего к нему отношение; ничего такого, чем он мог бы воспользоваться. Он не подозревал о внутреннем слухе, потому что слух этот был бесполезен. Идиот был плохим образчиком человеческой природы, и при всем том являлся мужчиной; а голоса эти принадлежали детям. Очень маленьким детям, не научившимся еще не пытаться докричаться до ближних. *Только плач, только шум...*

Мистер Кью был отличным отцом, лучшим из всех отцов. Так он сам сказал своей дочери Алисии в ее девятнадцатый день рождения. Эти слова он повторял дочери с той поры, как ей исполнилось четыре года. Столько лет было Алисии, когда появилась на свет крошечная Эвелин, и мать обеих девочек умерла, проклиная мужа, ибо на сей раз пробудившееся в ее душе негодование пересилило ее муки и страх...

Только хороший отец, лучший из всех отцов, мог сам принять роды. И только исключительный отец мог вынянчить и выпестовать обеих девиц с беспримерной заботой и нежностью. Ни один ребенок на свете не был огражден от зла столь надежно, сколь Алисия; а когда она подросла и соединила свои силы с отцом, для Эвелин был создан прочнейший покров чистоты.

– Чистоты тройной перегонки, – сказал Алисии мистер Кью в ее девятнадцатый день рождения. – Зло я знаю отменно – во всех его проявлениях, а потому учил тебя только добродетели, чтобы ты была примером, звездой для Эвелин. Я знаю все зло, каким оно есть, а тебе известно то зло, коего следует избегать девице, но Эвелин не знает зла.

В свои девятнадцать Алисия была достаточно зрелой, чтобы понимать такие абстракции, как «все его проявления» и «перегонка», а также такие общие понятия, как «добро» и «зло». В шестнадцать отец объяснил ей, как, оставшись наедине с женщиной, мужчина теряет рассудок и на теле его выступает ядовитый пот... Этот пот способен отравить женщину. В книгах отца были отвратительные картинки, подтверждавшие эти слова. В тринадцать у нее впервые случились некие неудобства, и она рассказала о них отцу. Со слезами на глазах тот поведал ей, что это произошло потому, что она слишком занята своим телом. Алисия призналась в этом, и отец наказал это тело так, что она пожалела, что оно у нее есть. Алисия со всем усердием старалась не

думать о теле, но это не всегда ей удавалось, и отец регулярно, с полным прискорбием помогал ей смирить непокорную плоть. Еще в восемь он научил ее купаться в полной темноте, дабы не появились бельма на глазах, изображения которых также присутствовали в его библиотеке. А в шесть он повесил в ее спальне картину, изображавшую женщину по имени Ангел и мужчину по имени Дьявол. Женщина поднимала руки вверх и улыбалась, а мужчина тянул к ней крючковые и когтистые руки, а наружу из груди его торчал кривой и влажный шип.

Жили они в тяжеловесном доме на челе заросшего лесом холма. К дому не вела ни одна дорога, лишь тропка петляла сквозь заросли, так чтобы не было такого окна, из которого предоставлялась бы возможность проследить весь ее извилистый путь. Тропа подходила к стене, к железным воротам, не открывавшимся целых восемнадцать лет; рядом с ними было стальное окошко. Раз в день отец Алисии отправлялся к стене и двумя ключами открывал два замка в окошке. Потом поднимал металлическую панель, забирал продукты и письма, оставлял деньги и свою почту и вновь запирает окно.

Снаружи к стене подходила узкая дорога, которой Алисия и Эвелин никогда не видели. Лес скрывал стену, и стена скрывала дорогу. Стена тянулась вдоль дороги на двести ярдов в обе стороны, на восток и на запад, а потом взбегала на холм, пока целиком не охватывала дом. Здесь ее продолжал

железный частокол высотой футов в пятнадцать, такой плотный, что между стальными штакетинами едва можно было просунуть кулак. Верхушки их были загнуты вниз и наружу, а понизу уходили в цемент, утыканный битым стеклом. Забор тянулся на запад и восток, соединяя дом со стеной, а там, где они смыкались, начинался новый забор, кружком охватывавший лес. Стена и дом образовывали прямоугольник, являвшийся запретной для посторонних территорией. Позади дома находились две огороженных квадратных мили леса, принадлежавшие Эвелин под присмотром Алисии. Там был ручеек, дикие цветы и маленький пруд, друзья-дубы и укромные лужайки. Небо над лесом оставалось чистым и близким, а забор нельзя было заметить за плотными зарослями падуба, закрывающими перспективу, преграждающими путь ветерку. Этот крошечный пятачок был для Эвелин целым миром, больше она ничего и не знала – все, что она любила, заключалось внутри ограды.

В девятнадцатый день рождения Алисии Эвелин сидела одна у своего пруда. Она не видела дом, не видела заросли падубов и заборы, однако над нею висело небо, а рядом журчала вода. Алисия ушла в библиотеку вместе с отцом, по случаю дней рождения он всегда находил для нее в библиотеке что-то особенное. Эвелин в эту комнату никогда не допускали. В библиотеке жил сам отец. И в нее разрешалось заходить только Алисии, и то по особым случаям. Эвелин и в мыслях не имела войти туда, – не более чем научиться ды-

шать под водой подобно пятнистой форели. Младшую сестру даже не учили читать – только слушать и повиноваться. Ей не суждено было искать – лишь принимать. Знание было даровано ей только тогда, когда она оказывалась готовой принять его, и только отец и старшая сестра знали, когда наступит этот момент.

Эвелин сидела на берегу, расправив длинные юбки. Заметив, что оголилась лодыжка, она охнула и поспешно прикрыла ее, как сделала бы Алисия, окажись она рядом. Прислонившись спиной к ивовому стволу, она глядела на воду.

Была весна, та самая пора, когда уже лопнули все оболочки, когда по иссохшим сосудам хлынули соки, когда раскрылись склеенные смолой почки, когда в стремительном порыве весь мир разом обрел красу. Воздух стал сладким и густым, он щекотал губы, и они раздвигались – он настаивал на своем, – и они отвечали улыбкой... и тогда он рвался в легкие, чтобы вторым сердцем забиться у горла. В воздухе этом была загадка, тишину и покой его наполняли недвижные краски снов, и все же он куда-то спешил. Этот покой, это стремление наполняла собственная жизнь, но как могли так тесно сплестись друг с другом стремление и покой... в этом крылась загадка.

Пересвист птиц мелким стежком прошивал зелень. Глаза Эвелин пощипывало, и лес расплывался за туманной пеленой изумления. Что-то напряглось у нее на коленях, она посмотрела вниз и увидела, как руки ее набросились друг

на друга, и полетели в траву длинные перчатки. Нагие ладони взметнулись к вискам – не для того, чтобы спрятаться, но чтобы разделить нечто. Она наклонила голову, и ладони улыбнулись друг другу под железным пологом расчесанных волос. Обнаружив четыре крючка, пальцы ее растянули их. Руки сами собой потянулись к крючкам. Высокий воротник распахнулся, и зачарованный воздух с безмолвным криком припал к ее телу. Эвелин задыхалась, словно от бега. Нерешительно, робко она протянула руку, погладила траву, словно пытаясь поделиться невыразимым восторгом, переполнявшим ее. Но трава не отвечала, и Эвелин упала на землю, зарывшись лицом в юную мяту, и зарыдала: столь невыносимо прекрасной была эта весна.

Идиот тем временем бродил по лесу. Он отдирал кору с мертвого дуба, когда подобное произошло и с ним. Руки замерли, голова повернулась на зов. Власти весны он подчинился как всякий зверь, может, чуть острее. И вдруг она разом сделалась чем-то большим, чем просто густой, исполненный надежд воздух, чем истекающая жизнью земля. Жесткая рука на его плече не могла быть более властной, чем этот зов.

Идиот поднялся – осторожно, словно бы мог неосторожным движением сломать что-то рядом с собой. Странные глаза загорелись. Он шел... он, которого до сих пор никто еще не звал, он, который не звал никого и никогда. Он шел

к тому, что ощущал, подчиняясь не внешнему зову, но собственной воле. Идиот начинал думать... Он ощущал, как рвется внутри оболочка, прежде сдерживавшая потребность в мысли. Всю его жизнь она, должно быть, таилась внутри его существа. Сейчас этот властный зов был обращен ко всему человеческому в нем, к той части его, что до этого дня слышала лишь младенческий лепет и дремала, забытая и ненужная. Но теперь она говорила. И получалось, что говорила на собственном языке.

Он был осторожен и быстр, быстр и осторожен. То туда, то сюда разворачивая широкие плечи, скользил сквозь заросли. Шел бесшумно и легко, пробираясь меж стволами ольхи и березы, задевая стройные колонны сосен, как если бы не имел права оставить прямую линию, соединявшую его с этим зовом. Солнце стояло высоко; лес вокруг был тем же самым лесом впереди, справа и слева, но он шел, не сворачивая, в одном только ему ведомом направлении, следуя не знанию, не компасу, но осознанному внутреннему зову.

Он добрался до места внезапно. Ведь когда идешь по лесу, поляна – всегда неожиданность. Вдоль частокола все деревья были тщательно вырублены футов на пятьдесят, чтобы ни одна ветвь не могла перевеситься через забор. Идиот выскользнул из леса и затрусил по нагой земле к тесному ряду железных прутьев. На бегу он вытянул вперед руки, и когда они уперлись в равнодушный металл, ноги его все еще двигались, ступни толкались, как если бы нужда давала ему

силу, чтобы пройти сквозь забор и густую заросль падуба за ним.

Преграда не поддавалась, и этот факт постепенно доходил до него. Получилось так, что первыми осознали это его ноги, осознали и перестали пытаться. А потом поняли это и руки. Поняли и отодвинулись от забора. Только глаза не сдавались. Взирая с мертвого лица, взглядом своим они пронзали забор, пронзали стену падуба, готовые взорваться ответом. Рот его открылся, извергая какой-то скрежет. Он никогда еще не пытался заговорить и не мог этого сделать сейчас, жест был итогом, но не средством, подобием слез, выступивших на реснице при музыкальном крещендо.

И он пошел вдоль забора боком, не имея сил отвернуть свое лицо от преграды.

Весь день лил дождь, лил он и ночью, только к полудню следующего дня прекратился, но едва выглянуло солнце, дождь снова хлынул, но уже вверх. Струи света били в зенит от тяжелых алмазов, усыпавших богатую новую зелень. Некоторые из алмазов съживались, другие падали, и тогда земля благодарила голосом мягким, листья голосом своей кожицы, и цветы своими красками.

Эвелин припала к окну, положив локти на подоконник и обхватив щеки руками, губы от этого сами собой растягивались в улыбку. Она тихо пела. Странной была песня для слуха, ведь девушка не ведала музыки и даже не знала, что

таковая существует на свете. Но вокруг щебетали птицы, а в печных трубах стонал ветер, перекликалась и пересвистывалась мелкая живность в принадлежащей ей части леса – и в той части, что была запретна для нее, и перешептывались в вышине кроны дубов. Из этих голосов и сложилась песнь Эвелин, странная и безыскусная, не знающая ни диатонической гаммы, ни размера:

Но я не трогаю счастье  
И не смею я тронуть счастье.  
Прелесть, о прелесть касанья,  
Листья света между мною и небом.  
Дождь коснулся меня,  
Ветер тронул меня,  
Листья кружат  
И несут прикосновенье...

Потом она пела без слов, а еще позже пела без звука, провозжая глазами капли, алмазами осыпающиеся с ветвей.

– Что это... что ты делаешь? – прозвучало вдруг резко и грубо.

Эвелин вздрогнула и обернулась. Позади нее стояла Алисия, лицо ее окаменело.

Махнув рукой в сторону окна, Эвелин попыталась заговорить...

– Ну же?

Эвелин снова махнула в сторону окна.

– Там, – сказала она, – я... я, – и, соскользнув со стула, встала. Встала, выпрямившись во весь рост. Лицо ее горело.

– Застегни воротник, – проговорила Алисия. – Что это случилось с тобой?

– Я стараюсь, – проговорила Эвелин голосом тихим и напряженным. Она поспешно застегнула воротник, но тут ладони ее легли на грудь. Эвелин стиснула свое тело. Шагнув вперед, Алисия сбросила ее руки.

– Нельзя. Что это... что ты делаешь? Ты говорила? С кем?

– Да, говорила! Но не с тобой и не с отцом.

– Но здесь никого нет.

– Есть, – промолвила Эвелин. И вдруг, задохнувшись, попросила: – Прикоснись ко мне, Алисия.

*–Прикоснуться? К тебе?*

– Да. Я... хочу, чтобы ты... просто... – Она протянула руки к сестре. Алисия попятилась.

– Мы не прикасаемся друг к другу, – проговорила она по возможности мягким тоном, стараясь преодолеть потрясение. – Что с тобой, Эвелин? Тебе плохо?

– Да, – ответила Эвелин. – Нет. Не знаю. – Она отвернулась к окну. – Дождь кончился. Здесь темно. А там столько света, столько... я хочу, чтобы солнечные лучи охватили меня, я хочу погрузиться в них, как в ванну.

– Глупая. Ведь тогда твое купание будет при свете!.. А мы ведь даже не говорим о купании, дорогая.

Эвелин подхватила подушку со стула, на котором сидела,

обняла ее и со всей силой прижала к своей груди.

– Эвелин! Прекрати!

Эвелин вихрем обернулась к сестре и посмотрела на нее так, как никогда прежде. Губы ее дрогнули. Она плотно сомкнула веки, а когда вновь открыла глаза, на ресницах блеснули слезы.

– Не могу, – выкрикнула она. – Не могу!

– Эвелин! – шептала Алисия, пятясь к двери и не отводя от сестры потрясенного взгляда. – Мне придется рассказать отцу.

Эвелин согласно кивнула.

Добравшись до ручья, идиот уселся на корточки и уставился на воду. В танце пронесся листок, на мгновение замер в воздухе, поклонился ему и отправился дальше между прутьями ограды прямо в уготованную ему падубом глубокую тень.

Он никогда еще не мыслил логически, и, быть может, попытка проследить взглядом путь листка была рождена не мыслью. Тем не менее, сделав это, он обнаружил, что ручей уходил здесь в канал с бетонными стенками, перегородженный теми же прутьями. От стенки до стенки они перекрывали здесь путь воде так плотно, что проскользнуть сквозь эту гребенку мог разве что лист или сучок. Он затрепыхался в воде, толкаясь в железо, ударяясь в подводный бетон. Задохнулся, наглотался воды, но в слепой настойчивости не остав-

лял напрасных попыток. Схватив обеими руками один из прутьев, идиот потряс его, но только поранил ладонь. Он попробовал второй, третий... и вдруг железо стукнуло о нижнюю поперечину.

Результат в корне отличался от прежних попыток. Едва ли он мог осознать, что железо здесь проржавело и ослабло. Он ощутил надежду, потому что ситуация изменилась. Погрузившись в воду ручья до подмышек, он сел на дно и уперся ногами по обе стороны поддавшегося звена. Вновь ухватил его руками, набрал воздуха в грудь и потянул изо всей силы. Розовое пятнышко поднялось от его рук и бледной струйкой скользнуло вниз по течению, он наклонился вперед и дернул, откидываясь назад. Проржавевшая под водой штакетина хрустнула. Идиот повалился назад, больно ударившись затылком о край желоба. На какое-то мгновение он обмяк, и тело его не то подкатилось, не то подплыло к ограде. Он глотнул воды, закашлялся и поднял голову. И когда закружившийся мир остановил свое вращение, идиот принялся шарить под водой. Там оказалось отверстие – высотой не менее фута, но всего в семь дюймов шириной. Он запустил в него руку до плеча, опустил под воду голову. Потом снова сел и попытался просунуть ногу.

И снова ощутил как непреложный факт, что одной воли недостаточно; одного давления на преграду было мало, чтобы заставить ее покориться. Он взялся за соседнюю штакетину и попытался ее сломать, но она не шевельнулась, как не

пошевелилась и штакетина по другую сторону пролома.

Наконец он оставил попытки, безнадежно посмотрел вверх на пятнадцатифутовую вершину забора с его кривыми, голодными, грозящими ему клыками, а потом на ряды битого стекла. Что-то мешало ему: пошарив в воде, он извлек из-под себя отломанную одиннадцатидюймовую железяку.

*Коснись, коснись меня.* Эта мысль призывала его, подкрепленная бурей эмоций; в ней угадывался голод, зов, поток ласки и нужды. Зов так и не прекратился, но сделался теперь иным. Как будто призыв превратился в волну, а зов стал оттиснутым на ней знаком.

Когда это случилось, нить, соединяющая обе его личности, дрогнула и расширилась. Пусть неуверенно, она начала проводить. Частички и мерцания внутренней силы скользнули по ней, впитали внимание и информацию и вернулись назад. Взгляд странных глаз обратился к куску железа, руки начали крутить его. Разум идиота пробудился, стена от долгого бездействия, а потом впервые занялся решением подобной проблемы.

Сев в воде у забора, он принялся перетирать своей железякой штакетины – под самой поперечиной.

Пошел дождь. Он не прекращался весь день, всю ночь и половину следующего дня.

– Она была здесь, – сказала Алисия. Лицо ее покраснело.

Мистер Кью обошел комнату, сделав круг, его глубоко посаженные глаза горели. Пальцами левой руки огладил кнут

о четырех хлыстах. Алисия сказала, припоминая:

– Она хотела, чтобы я прикоснулась к ней. Она просила меня об этом.

– Я сам прикоснусь к ней, – пробормотал он. – Зло, зло, – начал он нараспев, – зло нельзя вывести из человека. А я-то думал, что справлюсь, я думал, что справлюсь. Ты, Алисия, наполнена злом, и знаешь это, потому что женщина нянчила тебя, она не один год прикасалась к тебе. Но к Эвелин она не... Это зло растворено в ее крови, и его надо выпустить на свободу. Где она, как думаешь?

– Наверно, снаружи возле пруда. Эвелин любит это место. Я пойду с тобой.

Отец поглядел на Алисию, на разгоревшееся лицо, на пылающие глаза.

– Это моя забота. Оставайся здесь.

– Ну пожалуйста!

Он шевельнул тяжелой рукояткой кнута.

– Тебе тоже захотелось, Алисия?

Она отвернулась от него, испытывая непонятное волнение.

– Потом, – прорычал отец, выбегая из комнаты.

Алисия, дрожа, ненадолго застыла на месте, а потом метнулась к окну. Отец уже был снаружи, он шагал широко и целеустремленно. Руки ее легли на оконный переплет, губы раздвинулись, и с них сорвалось странное бессловесное бление.

Эвелин добежала до пруда, задыхаясь. Невидимой дымкой, колдовским маревом нечто висело над самой водою. Она жадно впитывала это чувство – и вдруг ощутила близость. Она не знала, что ждет ее – существо или событие, – но оно было неподалеку, и Эвелин предвкушала встречу. Ноздри ее трепетали и раздувались. Добежав до края воды, она опустила ладонь.

И сразу вскипела вода в ручье; это идиот вынырнул из-под ветвей остролиста. Он повалился грудью на берег и, задыхаясь, снизу вверх глядел на нее. Широкий, плоский, исцарапанный, костлявый и утомленный. Ладони его опухли и покрылись морщинками от воды. Лохмотья липли к его телу, ничего не скрывая.

Завороженная девушка склонилась над ним, и зов послышался от нее – нет, хлынули потоки одиночества, ожидания, жажды, радости и сочувствия. Восхищение звучало в ее зове, и не было в нем ни потрясения, ни испуга. Не первый день она знала о нем, как и он о ней, и теперь оба безмолвно тянулись друг к другу, смешивая, сплетая, сливая чувства. Каждый уже обретал жизнь в другом, и теперь она, нагнувшись, коснулась его и провела ладонью по лицу и взъерошенным волосам.

Задрожав, он выбрался из воды. И она опустилась возле него. Так сидели они рядом, и наконец Эвелин увидела глаза идиота: они словно расширились, заполняя все небо. Со

слезами радости она словно упала в них, готовая жить в них, а может, и умереть, но уж точно сделаться их частью.

Эвелин никогда не говорила с мужчиной, а идиот ни разу в жизни не произнес ни слова. Она не знала о поцелуях, а он если и видел их, то не знал, что это такое. Но им было даровано нечто большее, чем поцелуй. Они сидели рядом, ладонь ее лежала на его обнаженном плече, и токи внутренней сущности перетекали из одного тела в другое и возвращались обратно. Поэтому они не услышали ни решительной поступи отца, ни его изумленного вскрика, ни яростных воплей. Ничего, кроме друг друга, не видели они, пока не обрушился первый удар; схватив Эвелин, отец отбросил ее в сторону, не посмотрев, как и куда она упала. Он замер над идиотом, губы его побледнели, глаза разили... рот его шевельнулся и исторг ужасающий вопль.

И обрушился кнут.

Идиот был настолько поглощен тем, что происходило внутри него, что ни первый сокрушительный удар, ни второй его распухшая плоть даже и не заметила. Он лежал, уставившись куда-то в воздух, – туда, где только что были глаза Эвелин, – и не двигался.

Но вновь засвистели хлысты, терзая плетеными концами его тело. Тогда проснулся прежний рефлекс – спастись, – и он отодвинулся, пытаясь соскользнуть ногами вниз в воду. Мужчина отбросил кнут, схватил обеими руками костлявое запястье идиота и сделал с дюжину шагов по берегу, воло-

ча за собой длинное, покрытое лохмотьями тело. Пнув свою жертву в голову, он бросился назад, к кнуту. А когда возвратился, оказалось, что идиот уже успел приподняться на локтях. Новым пинком мужчина повалил его на спину. Поставил ногу на плечо идиота, пригвоздил его к земле и ударил по нагому животу кнутом.

Тут за его спиной раздался кошмарный вопль – и было как если бы на него напал буйвол с когтями тигра. Тяжко рухнув на землю, он повернулся и увидел над собой обезумевшее лицо собственной дочери. Она прокусила собственную губу, с нее капала слюна и кровь. Эвелин вцепилась в лицо отца, один из ее пальцев впился в его левый глаз. Взыв от боли, он сел, рванул пальцами сложное переплетение кружев на ее горле и дважды ударил по голове тяжелой рукоятью кнута.

А потом, что-то бормоча и скуля, снова обратился к идиоту. Однако тем теперь владела неотложная необходимость, она звала его бежать, смыв собой все прочее. И когда рукоятка кнута выбила сознание из девушки, разрушилось и кое-что еще. Так что теперь он мог только бежать, и ничто другое не было теперь возможно до тех пор, пока не будет достигнуто спасение. Длинное тело изогнулось, как у жука-щелкуна, подбросив его в воздух и перевернув в полусальто. Идиот приземлился на четвереньки и бросился наутек в то же самое мгновение. Кнут застиг его еще в полете, тело его в движении охватило плети, на короткий миг зажав их между краем ребер и костями ног. Рукоятка кнута выскользнула

из рук мужчины. Завопив, он рванулся за идиотом, нырнувшим в арку между стволов падуба. Мужчина повалился лицом в листву и рванулся, рухнул в воду и бросился вперед уже в воде. Одна рука его вцепилась в голую лодыжку, потянула к себе, и та ударила его в ухо. И тут голова его уткнулась в железные штакетины. Идиот уже был под забором и за ним, он уже наполовину высунулся из ручья, из последних сил стремясь поставить свое изможденное тело на ноги. Обернувшись, он увидел, как беснуется, припав к железкам, его противник, не подозревающий о подводном проломе.

Идиот припал к земле, розовую от крови воду смывало с его тела и несло к преследователю. Рефлекс постепенно покидал его. Настало мгновение пустоты, а потом явилось незнакомое новое чувство. Столь же внезапное, как приведший его сюда зов, и почти столь же сильное. Чувство это было похоже на страх, но если страх казался ему туманом, липким и ослепляющим, то в этом чувстве было что-то от жажды, нечто жесткое и целеустремленное.

Выпустив из рук отравленные стебли, чахшие на обработанной химикатами полосе вдоль забора, он позволил течению снова отнести себя к забору, за которым корчилась физиономия обезумевшего отца. Обратившись мертвым лицом к забору, он раскрыл глаза пошире. Вопли смолкли.

Идиот впервые осознанно воспользовался собственными глазами не ради того, чтобы получить кусок хлеба.

Когда мужчина ушел, идиот выбрался из ручья. И, осту-

паясь, побрел к лесу.

Когда Алисия увидела возвращающегося отца, она прикрыла рот тыльной стороной ладони и впилась в нее зубами. Дело было не в одежде, мокрой и порванной, даже не в раненом глазе. Дело было в чем-то еще, так что...

— *Отец!*

Он не ответил, но направился прямо к ней. В самый последний миг, чтобы не переломиться случайной соломинкой под его ногой, она безмолвно отшатнулась в сторону. Он протопал мимо нее прямо в библиотеку, оставив открытыми двери.

— Отец!

Не получив ответа, она вбежала следом. Он находился в дальней стороне комнаты, возле шкафов, которые никогда не открывал при ней. Теперь один из шкафов был открыт, и отец доставал из него длинноствольный револьвер и коробочку патронов. Открыв ее, он рассыпал патроны по столу и начал методично заряжать револьвер.

Алисия подбежала к нему.

— Что с тобой? Что случилось? Ты ранен, дай я тебе помогу, что ты де...

Остекленелый взгляд единственного теперь глаза его был прикован к оружию. Отец дышал медленно и чересчур глубоко, слишком длинно вдыхал, чересчур долго задерживал выдох и с присвистом выталкивал его наружу. Он звякнул барабаном, щелкнул предохранителем, посмотрел на дочь и

поднял оружие.

Взгляд этот ей никогда не суждено было забыть. Жуткие события случались с ней и тогда, и потом, однако время сгладило фокус, скрыло подробности. Но взгляд этот остался с ней навсегда.

Отец посмотрел на нее единственным глазом, поймал и пригвоздил, так что она задержалась, как насекомое на булавке. С ужасающей ясностью она поняла: отец не видит ее, не может отвести глаз от невидимого ей кошмара. Продолжая глядеть сквозь нее, он поднял пистолет, вложил ствол в рот и нажал на спусковой крючок.

Шума было немного. Только волосы на его макушке взметнулись. Глаз все смотрел вперед, смотрел, пронзая ее. Задыхаясь, Алисия выкрикнула имя отца. Но докричаться до него, мертвого, было невозможно, как и до живого, за несколько мгновений до выстрела. Он качнулся вперед, словно бы для того, чтобы показать ей ту кашу, в которую превратился его затылок, удерживавшая ее связь лопнула, и Алисия бежала из библиотеки.

Два часа, два полных часа прошло прежде, чем она сумела найти Эвелин. Одна из сестер была просто потеряна, превратившись в тьму и боль. Другая, напротив, стала слишком спокойной, она бродила по дому под аккомпанемент собственных стонов и хныканья.

– Что, – скулила она, – что ты сказал? – весь этот час пытаешься что-то понять, допытаться, добиться ответа у тихого

дома.

Эвелин она нашла у пруда, сестра лежала навзничь, с широко распахнутыми глазами. Голова девушки сбоку распухла, посреди опухоли зияла вмятина, в которую можно было просунуть три пальца.

– Не надо, – тихо шепнула Эвелин, когда Алисия попыталась приподнять ее голову. Мягко опустив ее, Алисия встала на колени, взяла сестру за руки и стиснула их.

– Эвелин, что случилось?

– Отец ударил меня, – спокойно проговорила Эвелин. – И теперь я собираюсь уснуть.

Алисия заскулила. Эвелин проговорила:

– Как называется, когда человек нуждается... в человеке... Когда хочешь, чтобы тебя касались... когда двое едины... и ничего другого вокруг не существует?

Читавшая книги Алисия задумалась.

– Любовь, – проговорила она наконец и, судорожно сглотнув, добавила: – Но это же – безумие! Скверное безумие.

На спокойном лице Эвелин почил отголосок неведомой Алисии премудрости.

– Это не так, – сказала она. – Любовь не так плоха. Я испытала ее.

– Тебе надо вернуться в дом.

– Я усну здесь. – Посмотрев на сестру, Эвелин улыбнулась. – Все в порядке... Алисия?

– Да.

– Я больше не проснусь, – проговорила она с той же странной мудростью. – Я хотела кое-что сделать, но уже не смогу. Сделаешь ли ты это для меня?

– Сделаю, – прошептала Алисия.

– Днем, когда лучи солнца будут прозрачны, искупайся в них... Но это не все. – Эвелин прикрыла глаза, легкая тучка набежала на ее безмятежное лицо. – Будь на солнце такой... Двигайся, бегай... Бегай и высоко прыгай. И пусть будет ветер, когда ты прыгаешь и бежишь. Я так хотела испытать это. Прежде я и не знала, что так хочу этого, а теперь я... ох, Алисия!

– Что, что с тобой?

– Вот там, смотри, неужели же ты не видишь? Там же стоит Любовь, и стан ее соткан из света!

Мудрые глаза ее спокойно глядели в темнеющее небо. Глянув вверх, Алисия ничего не увидела. А опустив взгляд вниз, поняла, что Эвелин тоже ничего больше не видит. Со всем ничего.

Далеко в лесу за забором звучали рыдания.

Алисия внимала им, потом закрыла глаза Эвелин. Медленно поднявшись, она направилась к дому, а за нею следовали рыдания – до самых дверей. И лишь за дверью она поняла, что и внутри нее все плачет.

Услыдав во дворе стук копыт, миссис Продд что-то буркнула себе под нос и выглянула в кухонное окно между ка-

нифасовых занавесок. В тусклом свете звезд, даже зная собственный двор, она с трудом разглядела лошадь и телегу для перевозки камней, а рядом собственного мужа, который вел лошадь в поводу. «Ну сейчас он у меня получит, – пробормотала она про себя, – бродит где-то по лесам... Я и ужин из-за него сожгла».

Но получить по заслугам Продду не удалось. Бросив один только взгляд на его широкое лицо, жена встревоженно спросила:

– Что случилось, Продд?

– Дай-ка одеяло.

– За каким...

– Живее. Тут парень раненый. В лесу подобрал. Будто медведь его изжевал. Вся одежда – в клочья.

Она торопливо вынесла одеяло. Продд выхватил его прямо из рук и исчез в темноте. Через минуту он вернулся, неся через плечо худощавого юношу.

– Сюда, – проговорила миссис Продд, открывая дверь в комнату Джека. Когда, удерживая обмякшее тело, Продд нерешительно остановился на пороге, она сказала:

– Шагай, шагай, не думай про грязь, вытру.

– Тряпок и горячей воды, – скомандовал Продд. Она отправилась исполнять указание, а фермер осторожно приоткрыл одеяло. – О боже!

Жену он остановил возле порога:

– Кажись, до утра не протянет. Может, не мучить его... –

Он глянул на дымящийся таз в ее руках.

– Попробуем. – Она шагнула в комнату и сразу застыла.

Продд осторожно взял таз из рук побелевшей жены.

Он протянул до утра. А потом еще целую неделю, и тогда только Продды решили, что у парня еще есть надежда. Он лежал на спине в комнате, которую звали комнатой Джека, ничем не интересовался и ничего не ощущал, кроме света, бывшего в окна. Он лежал и смотрел, может быть, наблюдал за окружающим, но, скорее всего, нет. С постели и видеть-то было нечего. Дальние горы, несколько акров земли Продда, на которых время от времени появлялся и он сам: далекая фигурка, ковыряющая упрямую почву сломанной бороной. Внутренняя суть лежащего замкнулась в себе и, отдавшись скорби, безмолвствовала. Внешняя оболочка тоже съезжилась. Когда миссис Продд приносила еду – яйца и теплое сладкое молоко, домашнюю ветчину и маисовые лепешки, – он ел, если она заставляла его, а если не настаивала, не обращал ни на женщину, ни на еду никакого внимания.

Вечерами Продд спрашивал:

– Ну, сказал что-нибудь? – и жена отрицательно качала головой.

Дней через десять ему пришла в голову мысль. По прошествии двух недель он изложил ее вслух.

– Ма, как по-твоему: он не чокнутый?

Она самым неожиданным образом вознегодовала:

– Как это – чокнутый?

Продд повел рукой.

– Сама знаешь, – тронутый, умишком хилый, вот как. Не говорит, потому что не может.

– Нет! – уверенно отвечала она. И, заметив вопросительный взгляд Продда, добавила: – Посмотри в его глаза. Разве у тронутых такие?

Глаза-то и он успел заметить. Взгляд их смущал его.

– Все-таки хотелось бы, чтоб он заговорил, – заметил Продд. – Как знать, может, парень вляпался во что-то такое, о чем лучше не помнить. Грейс-то, она поправилась, разве не так?

– Ну прежней-то она уже не стала, – ответила жена. – Но тем не менее переболела. Мне кажется, что иногда с нашим миром невозможно ужиться, и телу, так сказать, приходится отворачиваться от него, чтобы передохнуть.

Шли недели, раны зарастали, широкое плоское тело поглощало пищу, как кактус влагу. Никогда раньше в своей жизни не знал он отдыха, сытости и... Она сидела возле него и говорила. Пела песни... «Тихо теки, сладкий Афтон» и «Дома, на ранчо». Невысокая загорелая женщина с бесцветными волосами и выгоревшими глазами, охваченная голодом, подобным тому, что некогда терзал его. Она рассказывала застывшему, ни словом не отзывающемуся лицу о родне на востоке, о втором классе, о том, как Продд явился к

ней свататься на «Форде-Т» своего босса, не умея даже водить машину. Она рассказала ему обо всем, что еще было живо в ее памяти: о платье, которое было на ней в день конфирмации, – тут клинышек, там клинышек, а здесь бантик, о том, как муж Грейс, в стельку пьяный, завалился домой. портки изорваны, под мышкой поросенок – да визжит, хоть затыкай уши. Она читала над ним молитвы и пересказывала по памяти Библию. Словом, выболтала все, что знала и помнила, но умолчала о Джеке.

Парень никогда не улыбался в ответ и не отвечал, только глаза его поворачивались к ней, едва она входила в комнату, прочее же время он терпеливо глядел на дверь. Насколько глубока эта разница, она не знала, но выздоравливало не только израненное тело.

Так и настал тот день – Продды сидели за ужином (сами они звали его обедом), когда внутри Джековой комнаты послышались звуки. Обменявшись взглядом с женой, Продд приподнялся и распахнул дверь.

– Ну-ну, посиди, в таком виде нельзя выходить. Ма, брось-ка ему мою запасную робу.

Он был слаб и на ногах держался с трудом, но все же стоял. Ему помогли добраться до стула, он сел, тупо уставившись в одну точку пустыми глазами. Миссис Продд вывела его из этого состояния запахом пищи, поднеся под нос полную ложку. Взяв ее в свой широкий кулак, он втянул ложку в рот и поглядел на миссис Продд мимо ладони. Потрепав его

по плечу, она сказала, что все прекрасно и он великолепно справляется с делом.

– Ну, Ма, что ж ты его за двухлетку считаешь? – откликнулся Продд. Должно быть, эти глаза снова смутили его.

Она остановила мужа движением ладони. Все поняв, он не стал продолжать. Только ночью, когда Продд думал уже, что жена спит, она внезапно сказала:

– Да, Продд. Придется считать его двухлеткой. Хорошо, если не меньше.

– Как так?

– С Грейс было примерно так же, – проговорила она, – но все-таки получше. Перед тем как начать поправляться, она сделалась словно бы шестилетней. С куклами возилась. А когда однажды ей не досталось яблочного пирога, чуть слезами не изошла. Получилось так, словно она снова начала расти. Быстрее, чем в первый раз, но все равно пошла той же дорогой.

– Ты думаешь, что и он окажется таким же?

– Разве он не похож на двухлетку?

– Первый раз вижу двухлетнего малыша ростом в шесть футов.

Она фыркнула с наполовину деланым несогласием.

– Значит, будем воспитывать его как ребенка.

Муж притих на какое-то время и наконец спросил:

– А звать-то как будем?

– Только не Джеком! – встрепенулась она. Он согласно

буркнул, не зная, что и сказать.

– Подумаем еще, – проговорила она, – у него ведь наверняка есть имя. Зачем ему новое? Придется подождать. Он вернется и вспомнит его.

На сей раз Продд надолго задумался и когда вымолвил:

– Ма, надеюсь на то, что мы поступаем правильно, – оказалось, что жена к этому времени уже уснула.

А потом пошли чудеса. Продды называли их успехами и достижениями, однако это были подлинные чудеса.

Однажды Продд с трудом вытаскивал из амбара длинный брус сечения двенадцать на двенадцать, а с другого конца его подхватили две сильных руки. Однажды миссис Продд обнаружила, что ее пациент держит клубок пряжи. И внимательно смотрит на него только потому, что шерсть была красного цвета. В другой раз парень, заметив возле насоса полное ведро, занес воду в дом. Впрочем, орудовать рукояткой насоса он обучился не скоро.

Когда он прожил у них ровно год, миссис Продд припомнила эту дату и испекла пирог. Повинуясь какому-то порыву, она воткнула в него четыре свечи. Продды, сияя, глядели на своего подопечного, а он не отводил взгляда от четырех язычков пламени. Эти странные глаза вдруг притянули сперва ее, а потом и Продда.

– А ну, задуй-ка, сынок.

Быть может, он представил себе это действие. Быть может,

это произошло под воздействием тепла, источавшегося пожилой парой, излучавшегося ими добра и заботы о нем. Он все понял и, нагнув голову, дунул. Смеясь от радости, они окружили его. Продд похлопал его по плечу, а миссис Продд поцеловала в щеку.

Что-то повернулось в нем. Глаза закатились, так что на мгновение видны были одни белки. Мерзлое горе растаяло и хлынуло потоком: он заплакал. Это не был тот зов, тот контакт, тот обмен чувствами, который он испытал с Эвелин. Между этими переживаниями не было ничего общего, кроме силы. Однако сила пришедшего к нему чувства заставила его ощутить собственную утрату и поступить точно так, как было в момент ее. Он зарыдал.

Такие же громкие рыдания год назад навели на него Продда в сумраке леса. Комната эта была слишком мала для того, чтобы вместить его слезы. Миссис Продд никогда еще не слышала подобного звука. Продд слышал – в ту первую ночь. И было трудно сказать, что хуже: слышать их впервые или во второй раз.

Обхватив руками его голову, миссис Продд принялась ворковать, утешая односложными звуками. Появившийся возле Продд нерешительно потянулся к его волосам, но потом передумал, ограничившись растерянным:

– Ну, ну... ну же.

Когда пришел срок, рыдания прекратились. Он озираясь, хлопая носом, что-то новое появилось в его лице. Словно

исчезла бронзовая маска, которую обтягивала кожа лица.

– Прости, – сказал Продд. – Наверно, мы сделали что-то не так.

– Мы ничего плохого не сделали, – возразила жена. – Сам увидишь.

Он получил имя.

В тот вечер, рыдая, он осознал, что способен, если захочет, впитать мысль, послание тех, кто окружает его. Подобное случалось и прежде – налетало, как дуновение ветра, случалось столь же непроизвольно, как приходит чихание или дрожь. И он принялся вертеть и крутить перед собой это знание так, как некогда крутил клубок пряжи. Звуки, именуемые речью, пока ничего не значили для него, но он уже научился выделять слова, что были обращены к нему, отличая их от тех, которые его не касались. Он так и не научился слушать других: понятия сами собой вползали в его голову. Идеи сами по себе не имеют формы, они настолько неясны, что облекать их в слова он учился с большим трудом.

– Так как тебя звать-то? – однажды спросил его Продд. Они как раз переливали воду из цистерны в поилку, и вид искрящейся под лучами солнца струи заморозил идиота. Вопрос вырвал его из глубин созерцания. Подняв глаза, он встретился взглядом с Проддом.

*Имя.* Он потянулся, потребовал. И слово это вернулось к нему с тем, что можно было бы назвать определением. Но пришло оно в облике чистой идеи. «Имя» есть то единое,

чем являюсь я, – все, что я делал, чем был и что узнал.

И все это было рядом, ожидая единого символа – имени. Все скитания, голод, потеря и то, что хуже потери... отсутствие. Явилось смутное и неопределенное понимание того, что даже здесь, у Проддов, он не является сущностью, но замещает какую-то сущность.

*Все один.*

Он попытался выразить, произнести эти слова. Концепцию и лексику он почерпнул у Продда, а заодно и произношение. Но понять – одно, осмыслить – другое, а физически выговорить звуки – третье. Окостенелый язык его шевельнулся сапожной подметкой, гортань задудела заржавелым свистком. Губы задергались.

– Всс, вс...

– Что, сынок?

Все один. Он сформулировал мысль ясно и четко, но выразить ее никак не мог.

– Вс-вс... о... один, – наконец выдавил он.

– Дин? – переспросил Продд.

Слог этот что-то говорил фермеру, он услышал в нем нечто знакомое, пусть и не то, что было в него вложено.

Идиот попытался повторить звук, но косный язык словно окаменел. Он отчаянно звал на помощь, просил подсказки...

– Дин, – повторил Продд.

Он кивнул в ответ: это было и первое его слово, и первый разговор – еще одно чудо.

Разговаривать он учился пять лет, но все же предпочитал обходиться без речи. А научиться читать так и не смог. У него не было для этого нужных средств.

Жили-были два мальчика, для которых запах хлорки на кафельных плитках был запахом ненависти.

Запах этот будил в душе Джерри Томпсона чувства голода и одиночества. Этот запах пропитывал даже пищу и сон – сыростью, холодом, страхом, всем, из чего рождается ненависть. Только ненависть рождала какое-то тепло в мире, только в ней можно было не сомневаться. Человеку нужно быть хотя бы в чем-то уверенным, особенно когда полагаться можно на что-то одно, а тем более когда тебе всего шесть лет. В свои шесть лет Джерри успел уже во многом сделаться мужчиной, во всяком случае, по-мужски привыкнуть к тому серенькому довольству, возникающему, когда у тебя ничего не болит и тебя никто не трогает. Со стороны терпение его казалось несокрушимым, как у тех целеустремленных людей, что выглядят рассеянными, пока не настанет время решать. Люди обычно не понимают, что в шесть лет память человека так же, как у всех остальных, простирается к началу жизни и так же полна подробностей и событий. И за свою жизнь Джерри повидал достаточно бедствий, достаточно утрат и болезней, чтобы стать мужчиной. В шесть он уже научился принимать судьбу, покоряться ей, ждать и надеяться. Его небольшая сморщенная физиономия изменилась, в

голосе не было больше слышно протеста. Так он прожил еще два года и наконец решился.

Тогда он и убежал из сиротского дома: чтобы жить самому, прятаться среди сточных канав и мусора, убивать, когда загоняют в угол, и ненавидеть.

Ну а Гип не знал голода, холода и раннего взросления. Для него дезинфекция пахла одной только ненавистью. Запах этот окружал его отца, его ловкие и безжалостные руки врача, его скромную одежду. Гипу казалось, что даже голос доктора Бэрроуза источает запах карболки и хлорки.

Гип Бэрроуз был блестящим и прекрасным ребенком, только мир не захотел стать для него прямым коридором, выложенным стерильным кафелем. Все ему давалось легко, кроме власти над собственным любопытством, и «все» это подразумевало хладнокровные сеансы исправления, осуществлявшиеся отцом его, доктором, человеком успешным, человеком нравственным, человеком, построившим карьеру на собственной уверенности и правоте.

Уже с детства способности Гипа обещали развиваться быстро и ярко, словно взлетающая ракета, даровав ему все, о чем может мечтать мальчишка. Но воспитание вечно усматривало в подобной легкости нечто вроде кражи: дескать, все ему достается вовсе не по заслугам... Так повторял его отец, доктор: ведь он-то тяжким трудом добивался успеха. Посему таланты Гипа приносили ему друзей и почести, а дружбы и по-

чести несли с собой неуверенность и болезненное смирение, о которых он даже не подозревал.

Свой первый радиоприемник Гип соорудил лет, кажется, в восемь. Детекторный, даже катушки для него он наматывал сам. Чтобы не заметили, Гип запрятал его между пружинами матраса, там же скрыл наушники, чтобы ночью можно было послушать. Но отец его, доктор, нашел тайник и немедленно запретил мальчику даже прикасаться ко всяким проволокам и проводам. Ну а в девять лет отец его, доктор, добрался до припрятанных учебников и журналов по радиоэлектронике и, свалив их в кучу перед камином, целый вечер торжественно сжигал книги одну за другой. В двенадцать Гип добился права учиться в техническом колледже – за тайно изготовленный осциллограф без электродной трубки. Отец его, доктор, сам продиктовал мальчику текст отказа. В пятнадцать лет Гипа с треском выгнали из медицинского колледжа – так блистательно он сумел перепутать переключатели в лифтах, а добавив несколько поперечных связей, добился, чтобы всякая поездка заканчивалась в абсолютно непредсказуемом месте. В шестнадцать, к обоюдному удовольствию порвав с отцом, он уже зарабатывал на жизнь в исследовательской лаборатории и занимался в политехническом колледже.

Рослого и талантливое парня все знали – он просто рвался к известности и легко добился ее, как бывало всегда, когда он чего-то хотел. Над клавишами пианино руки его станови-

лись удивительно невесомыми, шахматные комбинации отличались изяществом и быстротой. Пришлось овладеть искусством проигрывать: за шахматной доской, на теннисном корте и в сложной игре, именуемой «первый в классе, первый в школе». Времени хватало на все: говорить, читать, удивляться, слушать тех, кто понимал его. И на то, чтобы перелагать иным слогом всякое педантичное занудство, непереносимое в оригинале. Нашлось время и для радарных систем, а раз так – он и попал на эту работу.

В ВВС жилось иначе, чем в гражданском колледже. Он не сразу уразумел, что полковника смирением не умилюют и не подкупить остроумием, как декана, властвующего над простыми смертными. Еще ему пришлось постигать, что на военной службе яркая речь, физическое совершенство и легкий успех считаются недостатками, а не достоинствами. И вдруг оказалось, что он остался один в большей степени, чем хотелось бы, и в стороне от всех остальных в большей степени, чем можно было перенести.

Свое успокоение, мечты и несчастье он обрел в службе дальнего обнаружения самолетов.

Алисия Кью стояла в глубочайшей тени у края лужайки.  
– Отец, отец, прости меня! – простонала она, в муках опускаясь на траву, слепая от горя и ужаса, потрясенная, разодранная конфликтом.

– Прости меня, – со страстью прошептала она.

– Прости меня, – шепнула она с презрением.

Почему ты еще не умер, Старый Черт, подумала она. Пять лет назад ты убил себя, убил мою сестру, а я все еще твержу: прости меня. Садист, извращенец, убийца, дьявол... *мужчина*, грязный, полный яда *мужчина*.

– Я ушла далеко, – томилась она, – я все там же... Как тогда я кинулась прочь от старого Джейкобса, доброго Джейкобса, адвоката, явившегося, чтобы помочь с телами. Ох, как я бежала тогда, чтобы не остаться наедине с ним, чтобы он не обезумел и не отравил меня. Потом он привел с собой жену, а я бежала и от нее – ведь женщины тоже злы... Не скоро я поняла, как добра, как терпелива была со мной матушка Джейкобс, сколько сделала она ради меня же самой. «Детка, таких платьев не носят уже лет сорок!» А потом, в автобусе, я визжала от страха и никак не могла умолкнуть. Кругом были люди, они все спешили. Тела, много тел, открытых взгляду и прикосновению, тела на улицах, лестницах, картинки с телами в журналах, а на них мужчины, а в их объятиях женщины, смеющиеся и абсолютно ничего не боящиеся... Доктор Ротштейн объяснял и объяснял мне, возвращался и снова объяснял: нет никакого ядовитого пота, и есть мужчины и женщины. Иначе не будет людей... Мне пришлось научиться всему этому, отец, черт ты мой дорогой, все из-за тебя! Ведь это из-за тебя я не знала ни автомобиля, ни собственной груди, ни газет, ни железной дороги, ни гигиенических

пакетов, ни поцелуя, ни ресторана, ни лифта, ни купального костюма, ни волос на... ох, прости меня, отец!

Я больше не боюсь кнута, просто руки и глаза подводят меня, благодаря твоему усердию, отец. Но знай, настанет время, и я сумею жить среди этих людей, сумею ездить в их поездах, даже в собственном автомобиле. Тогда среди тысяч и тысяч я отправлюсь к морю, которое не знает предела, которое не оградишь частоколом, и я буду ходить там, как все остальные, и на теле моем останутся лишь две полоски из ткани, и все увидят мой пуп. Тогда я встречу белозубого парня, да-да, отец, парня, с налитыми силой руками. И я... ох, что будет со мной, какой я теперь стала, прости же, отец.

Я живу теперь в доме, которого ты не видел, окна глядят на дорогу, а по ней с ласковым шорохом проносятся яркие машины, и дети играют возле забора. Но забор – не железная ограда нашего дома, и дважды в день в нем открывают ворота: для деловых поездок и для прогулок. Всякий волен выйти наружу, и я уже могу глядеть сквозь занавески, а когда соберусь с духом – и на незнакомцев за окнами. В ванной комнате горит свет, а прямо напротив ванны – зеркало во весь рост. И однажды, отец, я выпущу полотенце из рук.

Все остальное будет потом: тогда я буду ходить среди незнакомцев и без страха ощущать их прикосновения. А пока время размышлений; быть одной и читать о мире и о трудах его, а еще о таких безумцах, каким был ты сам.

Доктор Ротштейн твердит, что таких, как ты, много, но ты

был богат и мог жить, как хотел!

Эвелин...

Эвелин так и не узнала о том, что отец ее был безумен. Эвелин никогда не видала картинок, изображавших отравленную плоть. Я жила в ином мире, чем тот, который теперь окружает меня. Однако ее мир был в такой же мере иным, миром, который я и отец сотворили ради ее чистоты...

Интересно... хотелось бы понять, каким образом тебе хватило совести разнести выстрелом свои гнилые мозги...

Ей припомнился облик мертвого отца, и это почему-то успокоило ее. Алисия встала, глянула в сторону леса, старательно обзрела луг – тень за тенью, дерево за деревом.

– Хорошо, Эвелин, я сделаю, сделаю это...

Она глубоко вздохнула, задержала дыхание в груди. Потом зажмурилась – так, что чернота заалела. Руки сами собой пробежали по пуговицам, платье упало к ногам. Единым движением Алисия освободилась от белья и чулок. Шевельнулся воздух, и неопишуемым стало его прикосновение к телу. И, шагнув в луч солнца, со слезами ужаса, проступавшими сквозь стиснутые ресницы, закружилась в танце нагая, в память об Эвелин. И молила, молила отца о прощении.

Джейни было четыре года, когда она запустила пресс-папье в лейтенанта, руководствуясь неосознанным, но верным ощущением, – тому действительно нечего было болтаться в их доме, пока папа воевал за морем. Лейтенант получил

трещину черепа и, как часто бывает при таких повреждениях, впоследствии так никогда и не смог вспомнить, что при этом Джейни находилась в десяти футах от брошенного ею предмета. За этот подвиг мать хорошенько проучила девочку. Трепку Джейни восприняла с обычной невозмутимостью. И присоединила к прочим обстоятельствам, указывающим на то, что лишенная контроля сила обладает собственными недостатками.

– От нее у меня самой мурашки по коже бегают, – говорила потом ее мать новому лейтенанту. – Я не переношу эту девчонку. Ты ведь не думаешь, что со мной что-то не так, раз я говорю такое, правда?

– Не думаю, – отвечал другой лейтенант, наперекор собственным мыслям. И она пригласила его зайти днем, вполне уверенная в том, что если он увидит ее дитяtko, то все поймет.

Он зашел и понял. Не ребенка. Ее-то как раз никто и не понимал, – понял он чувства матери. Джейни стояла прямононько, подняв вверх лицо и расправив плечи. Широко расставив ноги, словно обутые в сапоги, она помахивала куклой, как стеклом. Девочка держалась собранно, что в ее годы несколько необычно. Пожалуй, она была меньше, чем следовало бы в ее возрасте. Острые черты лица, узкие глаза, тяжелые надбровья. Пропорции ее тела также не были типичны для большинства четырехлеток, способных легко перегнуться в пояснице и достать лбом пол. Для этого торс ее был, по-

жалуй, излишне короток, а ноги чересчур длинны. Говорила она с милой четкостью и убийственным отсутствием такта. Лейтенант неуклюже присел и проговорил:

– Адски рад, Джейни. Будем друзьями?

– Нет. От тебя разит совсем как от майора Гренфелла.

Майор Гренфелл был непосредственным предшественником травмированного лейтенанта.

– Джейни! – с опозданием осадил девочку мать. И уже спокойнее добавила: – Ты прекрасно знаешь, что майор забегал к нам только для того, чтобы выпить коктейль.

Джейни оставила слова матери без ответа, взрослые смущенно молчали. Тот, второй лейтенант как-то разом вдруг понял, что сидеть на корточках в форме – дело дурацкое, и распрямился настолько поспешно, что задел сервировочный столик. Джейни с кровожадной улыбкой глядела на его трясущиеся руки, пока тот подбирал с пола осколки. Потом он быстро ушел и более не появлялся.

Теперь у матери Джейни оставался только один выход – брать числом. Вопреки строжайшему запрету, однажды вечером Джейни явилась как раз во время четвертого бокала гибсона<sup>1</sup> и замерла в конце гостиной, окинув оскорбительным взглядом серо-зеленых глаз разгоряченные лица. Пузатый светловолосый мужчина, державший руку на плечах ее матери, поднял свой бокал и выкрикнул:

---

<sup>1</sup> Гибсон – коктейль: сухое мартини с маринованной луковицей вместо маслины.

– А вот и она, малышка Вимы!

Все находившиеся в комнате головы дружно повернулись на голос с одновременностью сервопереключателей, и в наступившей тишине Джейни произнесла:

– А у тебя...

– *Джейни!* – воскликнула мать. Кто-то расхохотался, и после того как смех умолк, девочка закончила: – Много жира...

Мужчина снял руку с плеч Вимы. Кто-то выкрикнул:

– Чего-чего, Джейни?

Согласно веяниям военного времени, Джейни добавила:

– Хоть на убой!

Вима оскалилась.

– Беги-ка в свою комнату, дорогая. Сейчас приду и уложу тебя.

Кто-то из гостей посмотрел на блондина и расхохотался. Кто-то громко шепнул:

– Се грядет воскресный бекон.

Никакой шнурок не мог бы заставить упитанного мужчину поджать губы в столь идеальный кружок, отчего нижняя губа его сделалась похожей на каплю клубничного джема, выжатого из сэндвича.

Джейни невозмутимо отправилась к двери и остановилась, оказавшись закрытой кем-то от глаз матери. Болезненного вида молодой человек, блеснув черными глазами, наклонился вперед. Джейни посмотрела ему в глаза. На лице молодого человека отразилось внутреннее возбуждение. Ру-

ка его дернулась вперед, вверх, наконец успокоилась на лбу. Потом соскользнула вниз и прикрыла черные глаза. Проговорив так, чтобы было слышно только ему:

– Больше не делай так, – девочка оставила комнату.

– Вима, – с внезапной хрипотцой произнес молодой человек, – эта девочка – телепат.

– Ерунда, – ответила Вима, все внимание которой было сосредоточено на надувшемся толстяке. – Все положенные витамины она получает каждый день.

Юноша попытался подняться на ноги, проводил взглядом ребенка, однако осел на свое место, промолвив:

– Боже, – и погрузился в мрачные раздумья.

Когда Джейни исполнилось пять, она научилась играть с маленькими девочками. Они заметили это не сразу. Малышкам было года по два с половиной, и они были похожи как две капли воды. Разговоры близнецов, если они и впрямь говорили, складывались из тонкого визга. Девочки кувыркались на асфальте двора, словно на лужайке.

Сначала Джейни наблюдала за их игрой, перегнувшись через подоконник с высоты четырех с половиной этажей, и копила во рту слюну, пока не набирался подходящий заряд. Тогда она вытягивала шею, надувала щеки и выпускала его. Близняшки игнорировали подобную бомбардировку, когда пущенный сверху снаряд падал на асфальт, однако раздражались самым уморительным писком и визгом, если она попа-

дала в цель. Им не приходило в голову посмотреть вверх, они просто носились в недоумении по двору.

А потом появилась другая игра. Когда наступили теплые дни, близняшки надумали выскакивать из своих комбинезончиков. Делали они это с молниеносной быстротой. Вот стоят две девочки-паиньки, и вдруг одна или обе оказываются футах в пятнадцати от свалившейся кучкой одежды. Потом, визжа и суетясь, они принимались забираться обратно в костюмчики, бросая при этом опасливые взгляды на подвальную дверь. Тогда-то Джейни и обнаружила, что, если хорошенько сосредоточиться, можно передвинуть костюмчик подальше. Забравшись на подоконник и выкатив глаза от усердия, она с увлечением предавалась новой забаве. Поначалу одежда лишь слегка шевелилась, словно от прикосновения внезапного ветерка. Но вскоре костюмчики начали ползть по асфальту плоскими крабами. Ей чрезвычайно нравилось, как верещат девчушки, догоняя свою одежонку. Теперь они стали снимать комбинезончики с осторожностью, так что порой Джейни приходилось минут по сорок дожидаться подходящего момента. А иногда она затаивалась, и близнецы, голенькая и одетая, кругами ходили возле одного из костюмчиков, карауля его, как два котенка жука. И потом наносила удар: комбинезончик взлетал, малышки бросались в погоню и иногда немедленно ловили его, а иной раз она гоняла девчонок до тех пор, пока малышки не начинали пыхтеть, как маленькие паровички.

Джейни узнала причины особенного внимания, уделяемого ими подвальной двери, когда однажды вечером ей удалось поднять комбинезончики вверх, вместо того чтобы гонять по двору. Она надолго оставила девчонок в покое, так что они потеряли осторожность, вылезали из одежды, отходили от нее, возвращались обратно, словно бы задирая свою незримую противницу. Однако она все-таки ждала, и вот наконец оба костюмчика оказались вместе, в одной бело-розовой кучке. Тут она и нанесла свой удар. Комбинезончики взвились по крутой восходящей кривой и закончили свой путь на подоконнике второго этажа. Поскольку двор находился чуть ниже улицы, одежонка оказалась футах в шести от земли, вне пределов досягаемости малышей. Тут Джейни и оставила ее.

Одна из малышей выбежала на середину двора и принялась в волнении подпрыгивать на месте, стараясь вытянуть шею и заглянуть повыше. Другая, наоборот, подбежала к стене под этим окном и насколько могла вытянула руки вверх, доставая крохотными ладошками только до кирпичей, находившихся в двадцати четырех дюймах под подоконником. Потом они бросились навстречу друг другу и тревожно защебетали. Через какое-то время они еще раз попробовали достать до подоконника, но уже вместе. Все чаще и чаще теперь они поглядывали на подвальную дверь, и к страху примешивалось все меньше и меньше удовольствия.

Наконец девчонки уселись на землю как можно дальше от

двери, обнялись и замерли. Они постепенно притихли, щебет превратился сперва в чириканье, а потом в робкое воркованье, и наконец девочки умолкли совсем, превратившись в два сотканых из страха комочка.

Прошли, должно быть, часы – да что там, недели, – прежде чем Джейни услышала стук и увидела, как шевельнулась дверь. В ней появился привратник, как всегда, утомленный общением с бутылкой. Она ясно видела набрякшие красные полумесяцы под пожелтевшими белками глаз.

– Бони! – рявкнул он. – Бини! Где вы? – Шагнув вперед, он огляделся. – Куда подевались? Только поглядеть на них! Вот так номер! Куда штанцы подевали?

Он спикировал на них и зажал в огромных кулаках по крошечной ручонке. Поднял обеих в воздух, так что девчонки могли касаться земли разве что одним пальчиком ног, а плененные локотки указывали в небо. Он обернулся, разыскивая взглядом комбинезончики, раз, другой, и наконец заметил их над своей головой.

– Как это вы умудрились? – потребовал он ответа. – Ишь ты, чего натворили! Надо же – бросаться такими дорогими штанами. Придется отшлепать.

Опустившись на одно колено, он пристроил оба детских тельца на бедре другой ноги. Вполне возможно, что он складывал чашечкой карающую ладонь, производя не столько боль, сколько звук, однако, тем не менее, шума вышло много. Джейни хихикнула.

Отпустив каждой из близняшек по четыре увесистых шлепка, он поставил малышей на ноги. Они молча смотрели, прикрывая ладошками попы, как отец подошел к подоконнику и снял с него комбинезончики. Бросив костюмчики к ногам дочерей, погрозил им пальцем правой руки:

– Только попробуйте устроить такую штуку еще раз, и я попрошу мистера Мильтона, который кондуктор, повесить вас за уши. Слышали?

Девочки прижались друг к другу, глядя на него круглыми глазами, привратник направился к двери и громко захлопнул ее за собой.

Близняшки неторопливо залезли в комбинезончики, отправились в тень стены и уселись на корточки, прижавшись к кирпичу спинами. Они что-то шептали. Никаких забав у Джейни в тот день уже не было.

Через улицу напротив дома Джейни располагался парк. Там стояла раковина для оркестра, протекал ручей, в проводочной клетке разгуливал облезлый фазан. А посреди парка росла густая рощица карликового дуба. Глубоко в чаще таилась полоска утоптанной земли, о которой знала одна только Джейни и еще тысяча с гаком попарно пользовавшихся ею по ночам персон. Однако Джейни ни по ночам, ни по вечерам там не бывала, а потому считала себя ее первооткрывательницей и хозяйкой.

Дня через четыре после эпизода со шлепками она вспом-

нила об этом уголке. Близнецы надоели Джейни, ничего интересного они больше не делали. Мать ее отправилась с кем-то обедать, заперев дочь в ее комнате. Увидев такое, один из дежурных поклонников спросил: «Вима, а как же девочка? Что, если случится пожар или еще что-нибудь в этом роде?» – «Дай-то бог», – отозвалась женщина.

Дверь в комнату дочери была заперта снаружи на крючок, Джейни подошла к двери и пристально поглядела в то место, где он находился. Легкое позвякивание возвестило о том, что крючок приподнялся и упал. Открыв дверь, девочка вышла в прихожую, из нее направилась к лифтам. Сама открылась дверца, Джейни вошла в кабину и нажала кнопки третьего, второго и первого этажей. Лифт опускался на этаж, останавливался, открывал дверцы, закрывал их, спускался снова, останавливался, открывал... Джейни следила за скольжением дверей, завороченная методичной повторяемостью их движения. Оказавшись внизу, она нажала все кнопки и выскочила из кабины. Глупый лифт послушно пополз вверх. Джейни снисходительно вздохнула и вышла на улицу.

Внимательно поглядев в обе стороны, она перешла дорогу. Но к рошце подходила отнюдь не чопорная леди. Она сразу полезла на дуб и, минуя развилки, поползла по ветви, которая, как ей было известно, нависала над ее укромным местечком. Ей почудилось, что внизу что-то движется. Девочка спустила ноги и принялась перебирать руками, пока ветка сильно не наклонилась, а затем выпустила ее из рук.

До земли оставалось всего восемь дюймов – обычно оставалось. Но на этот раз...

В тот самый миг, когда пальцы Джейни разомкнулись, ноги ее вдруг сами собой уехали назад, и девочка рухнула вниз. Она упала на землю животом. Руки ее сложились на уровне собственного живота; соприкосновение с землей развернуло их и вогнало ее кулак в солнечное сплетение. Невыразимо долгое время она не ощущала ничего, кроме слепящей боли. Она пыталась и пыталась преодолеть ее и наконец с трудом сделала первый вздох. Выдох оставил ее ноздри, но снова вздохнуть ей никак не удавалось. Всхлипывая, с шипением она пыталась сделать новый вдох, и боль отступила.

Наконец Джейни удалось опереться о землю локтями, и она сплюнула все, что накопилось во рту, то ли пыль, то ли грязь. Наконец приоткрыв глаза, Джейни увидела перед собой в считанных дюймах одну из близняшек.

– Хо-хо, – сказала та и резко дернула Джейни за запястье.

Джейни вновь зарылась в землю лицом. Инстинктивно подтянула колени. И немедленно заработала колючий удар по попе. Обернувшись, она заметила между деревьев вторую близняшку. Та сжимала крошечными лапками доску от ящика.

– Хи-хи, – поприветствовала близняшка свою знакомую.

Джейни сделала ей то же самое, что сделала болезненному и черноглазому молодому человеку на той пирушке.

– Иип, – ответила близняшка и исчезла, мелькнув в возду-

хе – так мелькает пущенная из пальцев апельсиновая косточка... Дощечка от ящика упала на землю. Схватив ее, Джейни нанесла удар. Вооружившись палкой, она развернулась для удара по голове той из них, что тянула ее за руки. Но ее орудие лишь попусту рассекло воздух. Перед Джейни никого не было.

Поскуливая, она поднялась на ноги, оказавшись в одиночестве в тени своего убежища. Она повернулась, повернулась еще раз. Рядом никого не было.

Что-то мягкое плюхнулось прямо на ее макушку. Мокрое, ощутила она, проведя рукой по волосам. Посмотрев наверх, она увидела, как летит вниз плевков другой близняшки. Он приземлился ей прямо на лоб.

– Хо-хо, – сказала одна из них.

– Хи-хи, – подтвердила вторая. Джейни оскалила зубы, в точности так, как делала это ее мать. Дощечка от ящика все еще оставалась в ее руке, и она изо всей силы метнула ее в своих обидчиц. Одна из близняшек даже не подумала шевельнуться, другая исчезла.

– Хо-хо, – так вот же она, на другой ветке! Джейни метнула в обеих такой заряд ненависти, какого не могла даже представить себе.

– Ууп, – сказала одна.

– Иип, – проговорила другая. А потом обе исчезли.

Стиснув зубы, Джейни подпрыгнула, уцепилась за ветку и полезла на дерево.

– Хо-хо, – послышалось издалека.

Она принялась озираться по сторонам, что-то заставило ее поглядеть через улицу.

Две крохотные фигурки парой горгулий сидели на стене, непринужденно болтая ногами. Помахав ей, обе исчезли.

Долго, вцепившись в ветку, она оставалась на дереве, а потом позволила себе соскользнуть к стволу и устроиться на ветке спиной к нему. Расстегнув пуговку на кармане, она достала из нее платок, хорошенько облизала его краешек, намочив, и короткими кошачьими движениями принялась стирать грязь с лица.

*– Им же всего по три года, – сказала она себе с высоты собственных лет. И потом... значит, они прекрасно знали, кто двигал их костюмчики.*

– Хо-хо... – проговорила она, не пряча более восхищения. Гнев угас. Еще четыре дня назад близнецы даже не могли достать до подоконника, были беспомощны перед наказанием. А теперь – гляди-ка.

Она спустилась с дерева и перешла через улицу. В вестибюле Джейни встала на цыпочки и нажала сияющую медную кнопку под табличкой «Привратник». Ожидая, она то носком, то пяткой переступала по узору кафеля под ногами.

– Кто трогал? Ты трогала? – Громовые раскаты заполнили округу.

Подойдя поближе, она сложила губы, как делала мать, когда мурлыкала в телефонную трубку.

– Мистер Уиддикомб, моя мать сказала, что я могу поиграть с вашими маленькими девочками.

– Она так сказала? Ну! – Сняв с головы круглую шляпу, привратник ударил ею о ладонь и снова надел. – Ну! Это хорошо... малышка, – и строгим тоном добавил: – А мать-то дома?

– Ода, – ответила Джейни, прямо-таки сияя уверенностью.

– Тут подожди, – буркнул он и забухал ногами по подвальной лестнице.

На сей раз ждать пришлось минут десять. Близняшки, которых привратник вел за руки, глядели недоверчиво.

– И не разрешай им проказить. Смотри, чтобы обе были одеты. И то, вишь, одежда им нужна, как мартышкам в лесу. Идите, дурехи, – и не уходить никуда, не сказавшись.

Близнецы опасливо приближались. Она взяла обе ладошки. Девочки заглядывали ей в лицо. Джейни направилась к лифтам, и они последовали за ней. Привратник добродушно ухмылялся вслед.

С этого мгновения жизнь Джейни переменилась. Настало время слияния, время общения, время стремящихся навстречу чувств. Для своих лет Джейни знала просто невероятное множество слов, хотя по большей части ей приходилось молчать. Близнецы же не научились еще говорить. Оказалось, что их собственный словарик из писка и визга только сопровождал иной способ общения. Джейни заметила это,

прикоснулась, – и вдруг открылось и хлынуло. Мать боялась и ненавидела ее. А отец всегда был какой-то отстраненной, далекой и сердитой сущностью... его вечно не было рядом, или же он кричал на мать или угрюмо замыкался в себе. К ней обращались, но с ней не разговаривали.

Здесь же вовсю лилась беседа, подробная, легкая, увлекательная. Без единого звука, только смех сопутствовал ей. Они молчали, сидели на корточках, листали ее красивые книжки, а потом вдруг наступала очередь кукол. Джейни показала девочкам, как, сидя на ковре, доставать шоколадки из коробки в соседней комнате и как, не прикасаясь к подушке руками, подбросить ее к потолку. Им понравилось, но больше всего заинтересовали малышей краски и мольберт.

Общение было для них чем-то меняющимся и постоянным, сиюминутным и вечным. Каждое мгновение оказывалось неповторимым.

День скользил мимо тихо и плавно, как прибрежное дуновение, и столь же быстро. Когда наконец хлопнула дверь и послышался голос Вимы, близняшки все еще были у Джейни.

– Вот и хорошо, вот и прекрасно, самое время немного выпить. – Она сорвала шляпку, волосы рассыпались по плечам. Мужчина привлек ее к себе, сжал в объятиях, как видно, не рассчитав силу. Вима взвилась:

– У, дурак...

И тут она заметила трех девочек, выглядывавших из две-

ри.

– Господи боже, – выговорила мать, – теперь она натащила полный дом негрятят!

– Они уже уходят домой, – решительным тоном проговорила Джейни. – Я сейчас отведу их.

– Ей-богу, Пит, – обратилась она к мужчине, – ей-богу, впервые вижу подобное в моем доме. Теперь ты подумаешь, что здесь всегда творится такое. Пит, я боюсь даже представить, что ты сейчас думаешь. Эй, немедленно гони их отсюда, – приказала она Джейни.

Джейни пошла к лифтам. Она глянула на Бони и Бини. Глазенки их округлились. Во рту Джейни сделалось сухо, как в пустыне, и ноги ее подгибались от страха. Погрузив близняшек в лифт, она нажала нижнюю кнопку, даже не попрощавшись с ними.

Она медленно вернулась в квартиру и затворила за собой дверь. Мать соскочила с колен мужчины и, стуча каблуками, бросилась к дочери. Зубы ее блестели, подбородок был влажен. Она занесла над девочкой когтистую лапу – не руку, не кулак – пятерню с острыми алыми когтями.

Что-то заскрежетало внутри Джейни, словно зубы о зубы. Она шла вперед, не останавливаясь. Сложив за спиной руки, она задрала вверх подбородок, чтобы встретить взгляд матери.

Голос Вимы смолк, его словно ветром сдуло. Она висела над пятилеткой, выставив когти, словно увенчанная крова-

вой пеной и готовая обрушиться волна.

Обойдя ее стороной, Джейни направилась в свою спальню и спокойно прикрыла за собой дверь.

Руки Вимы странным образом отбросило назад – так, словно бы они были обязаны следовать траектории собственного движения. Она не сразу обрела власть над ними, как и равновесие, и наконец голос. Зубы гостя коротко звякнули о бокал. Вима направилась к нему через комнату, опираясь на мебель, как на костыли и подпорки.

– Боже, – пробормотала она, – у меня самой от нее мурашки по телу...

– Веселенькое у тебя здесь местечко, – отозвался гость.

Джейни лежала в постели, ровная, гладкая и аккуратная, как круглая зубочистка. Ничто не проникнет внутрь, ничто не выйдет наружу; она не помнила, где и как отыскала такую оболочку, покрывавшую ее целиком. Но твердо знала: пока оболочка цела, ничего плохого с ней не случится.

*Но если случится, послышался шепоток, ты переломишься.*

Но если я не переломлюсь, ничего не случится, отвечала она.

*Но если случится...*

Ночные часы чернели, черные часы уходили в ночь.

Распахнулась дверь, вспыхнул свет.

– Он ушел. Теперь, детка, я с тобой разберусь. Убирайся

отсюда! – Купальный халат Вимы задел за дверной косяк; развернувшись, она вылетела из комнаты.

Откинув одеяло, Джейни спустила ноги и, не вполне понимая причину, принялась одеваться. Надела платице из шотландки, колготки, туфельки с пряжками, фартучек с кружевными зайчиками. Завязки на кофточке напоминали пушистые короткие хвостики.

Вима сидела на кушетке и колотила по ней кулаком.

– Ты испортила весь мой празд... – она приложилась к бокалу на квадратной ножке, – ...здник, а стало быть, имеешь право узнать, что я праздновала. Ты этого не знала, однако у меня были большие неприятности, и я не знала, как с ними справиться. Но теперь все уладилось само собой. И теперь я все тебе расскажу, моя маленькая мисс Длинные Уши – Большой Рот, Умница моя. С твоим-то отцом я могла управиться в любое время, но что мне было делать с твоим ртом, который не закрывается ни днем ни ночью? Но теперь все в порядке, он не вернется. Гансы разобрались с ним без меня. – Она помахала желтым листком. – Умные девочки знают, что это такое, это называется телеграмма, и вот что она говорит, слушай: «С прискорбием извещаем, что ваш муж...» Пристрелили твоего отца, вот что это значит. А теперь мы с тобой будем жить так. Я делаю все, что хочу, а твой нос будет направлен в другую сторону. Не правда ли, хорошо я придумала?

Она повернулась, ожидая ответа. Но Джейни не было. Ви-

ма знала, что поиски напрасны, но что-то все же заставило ее броситься в прихожую, к шкафу, заглянуть на его верхнюю полку. Кроме елочных игрушек, там ничего не было, да и к тем не прикасались уже три года.

Вима в растерянности стояла посреди гостиной.

– Джейни? – шепнула она.

Она прикоснулась к щекам руками, откинула с них волосы. И, поворачиваясь на месте, все спрашивала:

– Что-то со мной происходит?

Продд говаривал: «Что хорошо с фермой, так это если хороший базар – будут деньги, если плохой – будет харч». Впрочем, в его собственном доме этот принцип не соблюдался: контакты с рынком были сведены к минимуму. До города ехать далеко, а что делать, если сломается зуб на конных граблях? Э, у нас остается рабочее большинство... а если еще пара отлетит... или восемь или двенадцать? А теперь зайдем с другого конца. Никакой дороги здесь никогда не будет, ферма не разрастется, с ней всегда можно будет управиться. Даже война прошла в стороне от них: Продд уже не годился в солдаты, а Дин – что ж, шериф однажды заехал к ним, посмотреть на полудурка, работающего на Продда, и одного взгляда ему вполне хватило.

Когда Продд был молод, на этом месте уже стояла небольшая ферма. Приведя в нее жену, он кое-что пристроил к дому – так, комнатенку. Теперь в ней спал Дин, однако это бы-

ло не совсем то, ибо предназначалась она не для него.

Перемену Дин ощутил прежде, чем кто-либо другой, раньше самой миссис Продд. Вдруг ее молчание стало иным. Она исполнилась горделивого самосозерцания. И Дин ощущал в нем перемену – так меняется гордость человека, когда он обращается от своей любимой драгоценности к своему любимому зеленому побегу. Дин молчал и не делал никаких выводов, он просто знал.

Как и всегда, он принялся за работу. Руки его были умелыми, и Продд говаривал, что наверняка парень прежде работал на ферме, до того как с ним случилось несчастье. Говорил он эти слова, не зная того, что его собственный способ работы был доступен Дину, как вода из колодца. Как и все остальное, что Дин хотел взять.

В тот день, когда Продд спустился на южный луг, где Дин, шагавший и поворачивавшийся, словно превратившийся в часть шепчущей косы, уже знал, что тот хочет сказать. Поймав своими странными глазами на полмгновения взгляд Продда, он понял, что сказать то, что он хотел, тому будет нелегко.

С пониманием теперь у него не было никаких трудностей, сложности возникали с тонкостями выражения. Прекратив косить, он вышел на лесную опушку и уронил косу острием в подгнивший пенек. А потом попытался совладать со своим языком, все еще толстым и неуклюжим после восьми проведенных у Продда лет.

Продд медленно следовал за ним. Он также продумывал, что сказать.

Слова вдруг сами пришли к Дину.

– Я думал, – проговорил он и замолчал. Продд был рад отсрочке. Дин продолжил: – Я должен идти, – это было неточно, – идти дальше, – поправился он. Так уже лучше.

– Ну, Дин. Зачем... куда?

Тот поглядел на фермера. *Потому что ты сам этого хочешь.*

– Разве тебе плохо у нас? – произнес Продд, сам того не желая.

– Нет, – ответил Дин, прочитав мысли Продда: *Знает ли он?* Собственный разум отозвался: *конечно, знаю,* – и вслух добавил: – Пришло время идти дальше.

– Хорошо. – Продд пнул камень. Повернулся, глянул в сторону дома, так чтобы не видеть Дина, и тому сразу сделалось легче. – Когда мы поселились здесь, мы построили комнату... Джекову, *твою*, если хочешь, ту, в которой ты живешь. Мы с Ма зовем ее комнатой Джека. А почему, знаешь?

*Да,* – подумал Дин.

– Ну раз ты... раз ты сам собрался от нас, все не так уж и важно. Джек – это наш сын. – Он стиснул кулаки. – Я понимаю, со стороны все это выглядит просто смешным. Джек... мы так были уверены в нем, даже отвели ему комнату. А он, Джек... – Продд вновь глянул на дом, на пристройку, на лес, охватывавший усадьбу зубастым кольцом, из которого кое-

где выдавались клыки скал, – так и не родился.

– Ах, – протянул Дин, словцо это, полезное такое, он перенял у Продда.

– А теперь мы ждем его, – разом выдохнул Продд, лицо его просветлело. – Конечно, мы уже староваты, но я знал папаш и постарше, мамочек тоже. – Он снова поглядел на дом, на амбар.

– Все-таки это справедливо, Дин. Припозднился он, да. Сейчас был бы взрослый, работал со мной. Когда он вырастет, ни меня, ни Ма, понятно, уже здесь не будет, вот он и приведет маленькую женушку и начнет все сначала, как мы. Ну разве не справедливо? – Голос его умолял, Дин не пытался понять его.

– Слышь, Дин, не думай, мы тебя не выставляем.

– Я же сказал, что ухожу. – Он искал и что-то нащупал и поправился. – Еще до того, как ты сказал мне. – *И это*, подумал он, *действительно так*.

– Вот что, я должен что-то тебе сказать, – проговорил Продд. – Вот, говорят, бывают такие люди, которые хотят детей и не получается у них, вот иногда они перестают надеяться и берут кого-то еще. И вот когда они уже кого-то взяли, вдруг оказывается, что у них получается собственное дите.

– Ах, – проговорил Дин.

– Вот я и хочу сказать, что мы тебя взяли, так ведь, и вот оно что вышло.

Дин не знал, что на это сказать. «Ах» – казалось совер-

шенно не к месту.

– Мы должны за многое поблагодарить тебя, вот что я хочу тебе сказать, так чтобы ты не думал, что мы тебя выстав- ляем.

– Я уже сказал.

– Ну и хорошо. – Продд улыбнулся. На лице его было мно- го морщинок, в основном тех, которые бывают от улыбки.

– Хорошо, – отвечал Дин, – с Джеком ясно. – Он с неудо- вольствием кивнул. – Хорошо.

Он снова взял в руки косу, подойдя к незаконченному валку, он посмотрел в спину Продду. *Идет медленнее, чем обычно*, отметил он.

Наконец в голову Дина пришла разумная мысль: «Хоро- шо. С этим покончено». «С чем покончено?» – спросил он у себя самого.

И, оглядевшись, проговорил: «С косьбой». И только тут осознал, что после разговора с Проддом проработал более трех часов, так, как если бы на поле работал вместо него кто-то другой. Сам он при этом в известном смысле *– отсут- ствовал*.

Рассеянно взяв брусок, он принялся править косу. Мед- ленно проводя им вдоль лезвия, он извлекал из него булька- нье кипятка, а если быстро – короткий предсмертный вопль землеройки.

Откуда ему знакомо это ощущение уходящего времени – как бы куда-то за спину?

Он медленно водил по косе камнем. Пища, тепло и работа. Именинный пирог. Чистая постель. Чувство причастности. Он не знал этого мудреного слова, но он ощущал именно сопричастность.

Нет, исчезнувшего времени не было в этих воспоминаниях. Он задвигал бруском быстрее.

Из леса раздался предсмертный крик какого-то зверя. Одинок охотник, одинока и жертва. Капает живица, спит медведь, птицы улетают на юг... все это происходит одновременно, не только потому, что все они – часть единого целого, но потому, что все одиноки перед лицом одного и того же.

Так случалось там, где время проходило за пределами его ведения. Почти всегда до того, как он попал сюда. И так он теперь жил.

Но почему оно должно возвращаться к нему... теперь и тогда?

Дин окинул взглядом окрестности, как это делал Продд, вбирая дом, и неровный бугор, и поле, и чашу леса, ободком своим охватывавшую поле. Когда я был один, время всегда текло мимо меня. Теперь время снова течет мимо, а это значит, что я должен снова остаться один.

И тогда он понял, что всегда был один. Все это время миссис Продд воспитывала не его. Глаза Ма видели в нем Джека. Она воспитывала своего сына.

Там, в лесу, в воде и боли, он был частью чего-то, и это нечто было исторгнуто из него посреди влаги и муки. И если

восемь лет полагал он, что нашел нечто такое, частью чего может считать себя, то восемь лет ошибался.

Гнев был ему чужд, он испытал его только однажды. И теперь гнев вдруг накатил, приливом, могучей волной, оставившей его слабым и беспомощным. И предметом внезапной ярости стал он сам. Разве не знал он об этом? Разве имя такое принял, не понимая, что в сути имени воплощается все, чем был он и что делал. *Один*. С чего это вдруг он возмечтал об иных ощущениях?

Неправильно. Неправильно это, как белка с перьями, как волк со вставной деревянной челюстью... Однако не сказать, чтобы несправедливо или нечестно, просто неправильно... не-пра-виль-но, что под солнцем не может существовать... сама идея о том, что и таким, как он, можно принадлежать к чему-то.

Слышал, *сын*ок? Слышал, *парень*?

Слышал, Дин?

Подобрав три свежескошенных длинных стебля мятлика, он переплел их. Потом поднял косу вверх, глубоко воткнул ее в землю и прядкой травы примотал к рукоятке брусок – чтобы не свалился. И ушел в лес.

Было уже слишком поздно даже для полунощных обитателей рощицы. В кустах, у подножия остролиста, стало холодно и темно, как в сердце покойника.

Она сидела на голой земле. Шло время, она чуть съезжала

вниз, юбочка понемногу задиралась вверх. Ноги заледенели, особенно там, где к ним прикасался холодный ночной воздух. Однако она не стала одергивать юбку, потому что это было неважно. Рука ее не выпускала пушистый помпончик на кофточке – часа два назад Джейни еще гладила его и думала: как это, наверное, интересно – стать зайкой. Но теперь ей было уже все равно, что там в кулачке – пуговичка или заячий хвост.

Она уже успела извлечь все, что могла, из своего пребывания здесь, она успела узнать, что если оставить глаза открытыми до тех пор, пока не моргнуть уже будет нельзя, но все-таки не моргнуть, то они начнут болеть. А если оставить их открытыми и после того, боль будет становиться все сильнее и сильнее. Но если перетерпеть и это, глаза вдруг перестанут болеть.

Здесь было слишком темно для того, чтобы можно было понять, будут ли глаза ее видеть после всего этого.

Кроме того, она узнала, что если долго-долго сидеть совсем неподвижно, то тебе тоже будет больно, а потом боль пройдет. Но тогда нельзя шевельнуться даже на чуть-чуть, потому что тогда боль вернется с еще большей силой.

Если раскрутить волчок, он встанет прямо, а потом начнет ходить по комнате. А когда он замедляет вращение, то замирает на одном месте и начинает кланяться во все стороны, ну как майор Гренелл после нескольких коктейлей. И уже останавливаясь, он ложится, дергается, ударяется об пол. И

после этого уже не шелохнется.

Когда она была счастлива, когда общалась с девочками, тогда она была похожа на раскрученный волчок. Когда мать вернулась домой, волчок внутри нее более не ходил, но остановился и начал колебаться. Когда мать выгнала ее из постели, он уже дергался и дрожал. А когда она укрылась в своем уголке, он уже постукивал краями по полу. Более он не крутился и крутиться не собирался.

Потом она решила попробовать, надолго ли сумеет задержать дыхание. Не так, чтобы набрать полную грудь воздуха и терпеть, но вдыхать все тише и тише, забыть *вдохнуть*... все тише и тише... забыть и про *выдох*. И теперь уже скорее не дышать, нежели дышать.

Ветер шелохнул ее юбку. Джейни смутно ощутила движение... далекое и незаметное, словно бы тоненькая подушка отгораживала ее ноги от этого движения.

Волчок внутри нее уже катался по полу ребром, все медленнее, медленнее и наконец остановился.

...и медленно повернулся в обратную сторону... небыстро, недалеко... и остановился.

Но она покатила сама, перекатилась на живот, потом на спину, и боль стиснула ноздри, забурлила в желудке содовой водой. Она задыхалась от боли, и спазмы эти были дыханием, а Джейни все дышала и наконец вспомнила себя. Она повернулась еще раз, и по лицу ее забегали какие-то крохотные зверьки. Они были реальны, она их ощущала. Зверьки

пришептывали и ворковали. Джейни попыталась сесть, зверюшки забежали за спину, чтобы помочь. Голова ее упала на грудь, и она ощутила кожей теплоту собственного дыхания. Один из зверьков погладил ее по щеке. Протянув ладошку, она поймала его.

– Хо-хо, – проговорил зверек.

Нечто мягкое, крепкое и маленькое копошилось под другим ее боком, прижималось к телу. Гладкое и живое. И приговаривало: «хи-хи».

Обняв одной рукой Бони, а другой Бини, она зарыдала.

Дин вернулся, чтобы взять взаймы топор. Голыми руками ничего не сделаешь. Выбравшись из чащи, он заметил, как переменялась ферма. Прежде здесь каждый день был сумеречным, а тут ее словно вдруг озарило солнце. Цвета стали ярче, а запахи – дыма, травы и амбара – сильнее и чище. Кукуруза устремилась навстречу солнцу, да так, что страшно становилось за ее корни.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.